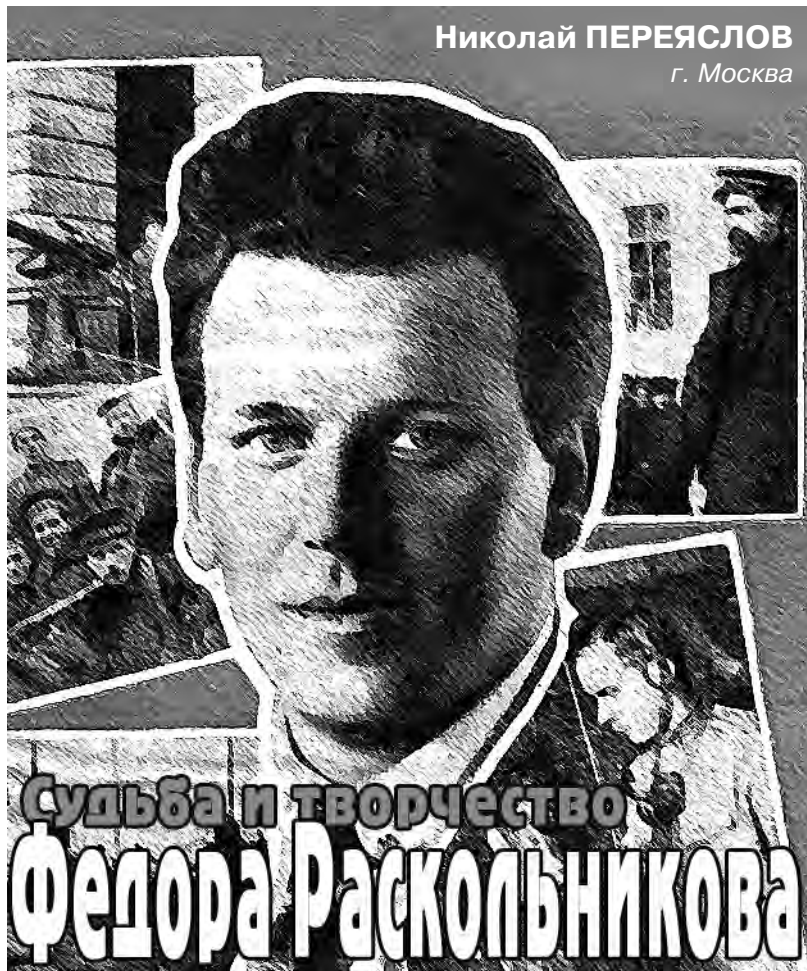


Николай ПЕРЕЯСЛОВ

г. Москва



Имя затерянного в лабиринтах российской истории революционера, писателя и дипломата Фёдора Фёдоровича Раскольникова выплыло из глубин многолетнего забвения благодаря публикации статьи о его удивительной судьбе, написанной доктором исторических наук В.Д. Поликарповым и напечатанной в июньском номере общественно-политического и литературно-художественного журнала «Огонёк» за 1987 год. Вместе с рассказом о бурных событиях жизни этого энергичного политика и литератора в печать были вынесены в эти дни почти никому до этого не известные две его политические работы – «Как меня сделали «врагом народа» и «Открытое письмо Сталину», показывающие, что в 1930-е годы в Советском Союзе были политические силы, способные выступить против воцаряющегося в стране режима сталинского культа и сопровождающих его жестоких репрессий. Беглая информация об этих письмах впервые была озвучена в декабре

1963 года после решения пленума Верховного суда СССР, отменившего постановление 1939 года по «делу» Раскольникова «за отсутствием в его действиях состава преступления» и восстановившего его в рядах Коммунистической партии, которой он безоговорочно отдал 30 лет своей жизни. Полностью же советским читателям основные положения «Открытого письма Сталину» впервые стали известны только из упомянутой выше статьи Поликарпова «Фёдор Раскольников», и только потом уже появилось несколько её публикаций в периодической печати.

«Сталин, – писал ему Раскольников из Франции, – вы объявили меня «вне закона». Этим актом вы уравнили меня в правах – точнее, в бесправии – со всеми советскими гражданами, которые под вашим владычеством живут вне закона.

Со своей стороны отвечаю полной взаимностью: возвращаю вам входной билет в построенное вами «царство социализма» и порываю с вашим режимом.

Ваш «социализм», при торжестве которого его строителям нашлось место лишь за тюремной решеткой, так же далёк от истинного социализма, как произвол вашей

личной диктатуры не имеет ничего общего с диктатурой пролетариата <...>.

Что сделали вы с конституцией, Сталин?

Испугавшись свободы выборов, как «прыжка в неизвестность», угрожавшего вашей личной власти, вы растоптали конституцию, как клочок бумаги, выборы превратили в жалкий фарс голосования за одну-единственную кандидатуру, а сессии Верховного Совета наполнили акафистами и овациями в честь самого себя. В промежутках между сессиями вы бесшумно уничтожали «зафинтивших» депутатов, насмехаясь над их неприкосновенностью и напоминая, что хозяином земли советской является не Верховный Совет, а вы. Вы сделали всё, чтобы дискредитировать советскую демократию, как дискредитировали социализм. Вместо того чтобы пойти по линии намеченного конституцией поворота, вы подавляете растущее недовольство насилием и террором. Постепенно заменив диктатуру пролетариата

та режимом вашей личной диктатуры, вы открыли новый этап, который в историю нашей революции войдёт под именем «эпохи террора».

Никто в Советском Союзе не чувствует себя в безопасности. Никто, ложась спать, не знает, удастся ли ему избежать ночного ареста, никому нет пощады. Правый и виноватый, герой Октября и враг революции, старый большевик и беспартийный, колхозный крестьянин и полпред, народный комиссар и рабочий, интеллигент и Маршал Советского Союза – все в равной мере подвержены ударам вашего бича, все кружатся в дьявольской кровавой карусели <...>».

Письмо это породило среди читателей самые что ни есть противоречивые суждения, столкнув между собой лбами сталинистов с антисталинистами, но правда в этом письме, конечно же, имела место, потому что всё то, о чём Фёдор писал в нём, он знал на собственной шкуре. Такой яркой судьбой, как у Фёдора Раскольников, не мог бы похвастать ни один из его революционных соратников – ни Молотов, ни Калинин, ни Каганович, ни Орджоникидзе, ни кто-либо другой из его окружения. Даже сам Сталин выглядит на фоне деятельности Раскольникова весьма бледновато. А ведь помимо революционной, боевой и политической работы, Фёдор Фёдорович в течение нескольких лет был секретарём знаменитой газеты «Правда», заместителем председателя Кронштадтского совета военных депутатов, замнаркома по морским делам, командующим Каспийской и Балтийской флотилиями, членом Реввоенсовета республики, ответственным редактором ряда литературно-политических журналов и издательств, а также активным журналистом и писателем, выпустившим несколько публицистических книг и пьес, в последние годы работавшим полпредом Советской России в Афганистане, дипломатом в Эстонии, Дании и Болгарии. Он был правой рукой Ленина и Троцкого, отлично знал Сталина, был знаком с Буниным и Горьким, Пильняком и Есениным, Молотовым и Коллонтай, а также со множеством других русских и иностранных писателей, политиков, дипломатов, военных, актёров, музыкантов, художников, поэтов...

Фёдор Фёдорович Раскольников (настоящая фамилия – Ильин) родился 28 января 1892 года (по новому стилю – 9 февраля) в Санкт-Петербурге, в довольно сложной семье. Мать его, Антонина Васильевна Ильина, была дочерью генерал-майора, а отец – Фёдор Александрович Петров – протодиаконом Сергиевского всей артиллерии собора. Будучи церковным служителем, протодиаконом, отец Раскольникова уже состоял до этого в браке и поэтому не

имел права венчаться вторично. Поэтому Фёдор и его младший брат Александр официально считались внебрачными детьми, живя с клеймом «незаконнорождённых», из-за чего они начали свою жизнь с острыми чувствами обиды. Они спокойно могли бы вписаться в столичную элиту: отец был популярным в Петербурге священнослужителем, мать – генеральской дочкой. Но, боясь увольнения, протодьякон Фёдор Петров навещал семью только тайком, его невенчанной супруге Антонине пришлось целыми днями работать в лавке, а сыновей отдать в городской приют.

Когда Фёдор-младший заканчивал школу, его отец, обвинённый в изнасиловании служанки, наложил на себя руки. (Вспомним отмеченных в его автобиографии деда и дядю будущего героя революции, которые в своё время тоже покончили с собой из-за женщин!) От «свинцовых мерзостей жизни» подросток прятался в книги, отождествляя себя с их героями – жертвами несправедливости, мстящими потом за обиды своей судьбе и обидчикам.

* * *

В 1909 году Фёдор поступил на экономическое отделение Санкт-Петербургского политехнического института, а уже в декабре 1910 года он становится членом партии РСДРП, ссылаясь на совместную работу с В.М. Молотовым в «большевистской фракции Политехнического института», где он сразу же включился в революционное движение. Вскоре он начал и свою литературную работу в легальной газете большевиков «Звезда», а затем и в газете «Правда». Свои статьи и заметки он подписывал псевдонимом «Раскольников», который и стал его фамилией после состоявшейся революции.

За свои острые статьи Фёдор был арестован и приговорён к трём годам ссылки, но мать, подняв свои «генеральские» связи, сумела оставить его в столице на лечение. А вскоре его вообще амнистировали в связи с празднованием 300-летия дома Романовых.

После окончания института Фёдор не стал работать по инженерной специальности, а продолжил свою журналистскую деятельность в газете «Правда» и журнале «Просвещение», где раньше он уже печатал свои большие и серьёзные статьи.

Согласно партийной линии, от Первой мировой войны молодой Фёдор уклонился, поступив в школу гардемарин. На учебном судне он отправился в Японию и провёл в плаваниях полтора года. Февральские события застали недоучившегося мичмана врасплох, как и саму царскую

власть, до последнего дня уверенную, что народ ей предан. Для Фёдора, скучавшего в холодных гардемаринских классах, революция стала самым настоящим праздником.

После Февральской революции он стал заместителем председателя Кронштадтского совета, а после июльского кризиса был арестован, посажен в «Кресты», где сидел вместе со Львом Троцким, и освобождён оттуда только 13 октября 1917 года.

В момент октябрьского переворота 1917 года, когда судьба восстания и большевиков висела на волоске, Раскольников покинул Смольный и скрылся в неизвестном направлении. Впоследствии своё неучастие в этом историческом событии он оправдывал внезапной «инфлюэнцей».

Сразу же после Октябрьской революции Раскольников оказывается снова на коне и вместе с матросом Железняковым разгоняет Учредительное собрание. Он же руководил расстрелом рабочей демонстрации в поддержку Учредительного собрания; балтийские матросы неоднократно открывали пулемётный огонь по его приказу. По разным данным, было до 2500 убитых и раненых. «Там действовал товарищ Раскольников, которого прекрасно знают московские и питерские рабочие по его агитации, по его партийной работе», – говорил о нём Владимир Ленин.

В дни Октябрьской революции Фёдор принимал участие в подавлении похода Краснова-Керенского на Петроград, участвовал в боях в Москве. В январе-марте 1918 года он – активный участник попытки красных захватить власть в Финляндии: вместе с П.Е. Дыбенко он участвовал в организации красного террора в Хельсинки. Именно он придумал езду на санях по телам приговоренных – таким было его с Дыбенко любимое «развлечение».

Весной 1918 года Раскольников был назначен комиссаром Морского генерального штаба и заместителем наркомвоенмора Троцкого по морским делам. Флотских дел он, можно сказать, не знал, и вся его работа на этой должности свелась к поиску «изменников» среди морских офицеров. Расстрел командующего Балтийским флотом адмирала Щастного – тоже его «заслуга» совместно с Троцким. Аналогичная участь постигла и многих других морских офицеров.

На этой же должности он выполнял поручение Совнаркома по затоплению кораблей Черноморского флота в июне 1918 года, предотвратив их интернирование немцами. Операция была необычайно опасной для его жизни. Он был послан Лениным с чрезвычайным мандатом для выполнения задачи, против которой выступало большинство моряков и офицеров флота, которые предлагали другие вари-

анты решения проблемы – например, перебазирование флота в нейтральные порты. Раскольников любым средствам переубеждения предпочёл насилие: несогласных с затоплением флота объявлял «врагами революции» со всеми вытекающими последствиями. Таким способом он сумел переломить настроение моряков, и русские корабли легли на дно Цемесской бухты.

С июля 1918 года Раскольников – член Реввоенсовета Восточного фронта, командовал Волжской флотилией, где так активно искал «врагов», что флотилия едва не перешла на сторону белых, так что Ленину пришлось его оттуда срочно убрать.

В августе 1918 года Фёдор становится командующим Волжской военной флотилией. С подачи Льва Троцкого он решает обрушить красный террор на весь военно-морской флот и 20 августа 1918 года телеграфирует из Нижнего Новгорода в Москву Антонову-Овсеенко: «Всех военных моряков, отказывающихся идти на Чехословацкий фронт, следует незамедлительно увольнять со службы и отправлять в Свияжск в распоряжение товарища Троцкого для предания суду Революционного трибунала».

Даже на фоне всех ужасов Гражданской войны кровавые расправы Троцкого над красноармейцами в 1918 году в Свияжске стоят на особом месте. Ни до, ни после этого в Красной армии не было таких жутких массовых казней. А потому приказ Раскольникова присылать провинившихся военных моряков к Троцкому в Свияжск на расправу был равносителен подписанию им смертного приговора.

* * *

10 сентября 1918 года Раскольников участвовал во взятии Казани и последующем походе Волжской флотилии по Каме для освобождения заключённых на «барже смерти». В эти дни он является активным участником красного террора в Казани и кровавого подавления Ижевско-Воткинского восстания рабочих против голода и репрессий. Никакого отношения к органам ВЧК или к ревтрибуналам Раскольников не имел, что не мешало ему отдавать самочинные приказы о расстрелах, в том числе больших групп лиц. За это Троцкий сделал его членом Реввоенсовета республики.

Апофеоз службы Раскольникова на Волжской флотилии получился скандальным. После падения Казани флотилия, возглавляемая Раскольниковым, не оказав никакого сопротивления белым, самовольно покинула боевые позиции и ушла в тыл. Что касается самого Раскольникова, то он, говорят, бросив на произвол свою флотилию, вообще постыдно

сбежал, да так, что его долго не мог найти ни главный Вацетис, ни штаб 5-й армии в Свяжске, ни его собственная жена Лариса Рейснер, отправившаяся на поиски мужа в Казань под видом жены офицера. За трусость и бегство с поля боя Раскольникову грозил расстрел. Однако его спас Троцкий, вняв просьбам своей любовницы Ларисы Рейснер, которую он к этому времени уже пристроил замуж за Раскольникова. (По другим сведениям, Раскольников находился все эти дни в белогвардейском плену, из которого ему всё-таки удалось благополучно бежать и выйти к своей части, где он застал Ларису в постели с Троцким. Несказанно радуясь своему возвращению, Фёдор простил жене даже её шаг в объятия Льва Давидовича...)

* * *

26 декабря того же 1918 года Раскольников был взят в плен британскими моряками во время похода советских миноносцев «Авроил» и «Спартак» на Таллин. Этот поход закончился пленением обоих кораблей со всеми их экипажами. После этого Фёдор содержался в Брикстонской тюрьме Лондона, а 27 мая 1919 года в посёлке Белоострове под Петроградом он был обменен на группу арестованных граждан Британии.

После освобождения из британского плена 10 июня 1919 года Раскольников был назначен командующим Астраханско-Каспийской военной флотилией, а уже 31 июля 1919 года – командующим Волжско-Каспийской военной флотилией, после чего он участвовал в обороне Царицына и высадке десанта в иранском порту Энзели с целью возвращения оттуда угнанных белогвардейцами кораблей Каспийского флота. За эту операцию он был награждён орденом Красного Знамени.

На посту командующего флотилией Раскольников ничем себя не проявил. Единственное, что под его началом было проведено похищение баржи с пленными красноармейцами и арестованными уголовниками у белых под Сарапулом. Этот случай, не имеющий никакого отношения к боевой деятельности флотилии, был разрекламирован на всю страну как необычайная по смелости и дерзости операция. Чтобы увеличить эффект пиара, Раскольников сам писал статьи о себе, без всякого стеснения прославляя в них собственный героизм. На самом деле ничего подобного не было. Баржу с арестованными охраняли всего несколько старых солдат, которые без всякого сопротивления сами подали буксирные концы на пароход Раскольникова. Надо отдать

должное, что, будучи неплохим журналистом, Раскольников прекрасно понимал значение газетного слова и умело этим пользовался. Пленение баржи было возведено им и Троцким в ранг блестящей оперативной операции. И награда – второй орден Красного Знамени – не замедлила себя ждать.

С июня 1920-го по март 1921 года Фёдор Фёдорович являлся командующим Балтийским флотом, о чём остались двойственные воспоминания. Во время его деятельности на флоте он и его жена – писательница Лариса Рейснер, ставшая прототипом женщины-комиссара в «Оптимистической трагедии» Всеволода Вишневского, – отнюдь не были такими аскетами, какими большевики были представлены в благонамеренной пьесе. Как писал в своём рапорте в Петроград председатель Кронштадтского отдела трибунала Балтфлота Ассар, они жили в роскошном особняке, держали прислугу и ни в чём себе не отказывали. Матросов же Фёдор Фёдорович считал людьми второго сорта... Когда Раскольников со штабом на яхтах прибывали в Кронштадт, для рядовых военморов готовили суп с селёдкой или воблой. Для штаба и начальствующего состава – полный обед из трёх блюд, причём суп – с мясом. Для самого же Раскольникова и особо приближённых к нему лиц готовили настоящие деликатесы. На линкоре «Петропавловск» комиссару флота Николаю Николаевичу Кузьмину моряки жаловались, что Раскольников и его окружение чаще инспектируют винные погреба, чем пороховые. Они требовали создать специальную комиссию для обследования квартир своих командиров и комиссаров, не без оснований подозревая, что там найдутся не только предметы роскоши, но и продовольственные запасы, не дошедшие до матросского котла.

При всём при том личные качества Фёдора Фёдоровича были по достоинству оценены Лениным и высшим руководством страны, и когда в 1921 году потребовалось ликвидировать контрреволюционный Кронштадтский мятеж, то в помощь командарму Тухачевскому придали несколько «верных товарищей», в том числе и Раскольникова. Вместе с Дыбенко Фёдор участвовал в жестоком подавлении Кронштадтского восстания, и несколько десятков смертных приговоров, вынесенных Дыбенко, он исполнил лично. Очевидцы утверждают, что Раскольников в это время очень сильно пил и то и дело цитировал Достоевского. После этого Дыбенко написал рапорт о его отзывании с флота, и Троцкому пришлось к этому рапорту прислушаться, поскольку состояние Фёдора начало внушать опасения и ему самому.

Ещё во время своей деятельности в Кронштад-

те Раскольников женился на знаменитой революционерке и поэтессе, «валькирии революции» – Ларисе Рейснер, бывшей ранее любовницей известного поэта Николая Гумилёва, расстрелянного в 1921 году за контрреволюционную деятельность, а также любовницей Льва Давидовича Троцкого. В 1932 году Лариса стала героиней пьесы известного писателя-драматурга Всеволода Вишневского «Оптимистическая трагедия», которая уже на следующий год была поставлена в московском Камерном театре режиссёром А.И.Таировым и стала ярким явлением в советской драматургии 1930-х годов. А уже после войны поэт Борис Пастернак в память об ушедшей в 1926 году Ларисе Рейснер дал её имя – Лара – героине своего знаменитого романа «Доктор Живаго». А многочисленные эпизоды героической жизни Фёдора Фёдоровича Раскольникова легли в основу целого ряда советских кинофильмов и постановок – таких, как «Миссия в Кабуле», «Гибель эскадры», «Разлом» и та же самая «Оптимистическая трагедия», в которой была изображена Лариса Рейснер и, отчасти, он тоже.

Но в 1923 году, находясь вместе с Раскольниковым на дипломатической работе в Афганистане, Лариса вдруг узнала, что едва ли не главную роль в смерти её любимого поэта Гумилёва сыграл не кто-нибудь, а именно её муж, написавший на него в 1921 году из-за своей ревности расстрельный донос в ЧК, и поэтому она решительно бросила Фёдора в Кабуле и уехала назад в Россию, где быстро оформила с ним развод и начала (по-видимому, в виде мести за этот его донос на Гумилёва) жить с некрасивым, женатым, но остроумным Карлом Радеком, являвшимся тогда членом коллегии Народного комиссариата иностранных дел РСФСР. («Член – до колена», – как говорили тогда о нём коллеги.)

* * *

В 1924 году Раскольников отзывается в СССР из Афганистана и до 1930 года работает редактором журналов «Молодая гвардия» и «Красная новь», а также главным редактором издательства «Московский рабочий». Возится с беспомощными рукописями рабочих, которые он сам много правил, вытягивая их рассказы, статьи и очерки. Даёт путёвку в жизнь группе комсомольских поэтов – Безыменскому, Жарову, Светлову и Михаилу Голодному. Печатает писателей из разных литературных группировок – «Перевала», «Кузницы», «Серапионовых братьев», а также «попутчиков» из интеллигенции, из-под

пера которых выходили повести и поэмы, привлекавшие многих читателей. Не печатай их произведений – никто бы не стал читать и эти журналы, заполненные красными агитками.

Какое-то время Раскольников руководил издательством «Московский рабочий» и здесь старался в первую очередь издавать писателей пролеткультовского толка – Либединского, Фадеева, Фурманова или близких пролеткульту по духу таких маститых авторов, как Маяковский, Демьян Бедный, Серафимович.

Однако впоследствии ему пришлось пересмотреть свой взгляд на литературный процесс и признать, что теория пролеткульту нуждается в серьёзной корректировке.

В 1928–1930 годах он становится начальником «Главискусства», членом коллегии «Наркомпроса» и председателем «Главреперткома». Под его непосредственным руководством были запрещены к показу пьесы Михаила Булгакова и проводилась конъюнктурная правка произведений писателей.

В 1934 году его принимает в свои члены только что созданный в СССР Союз советских писателей, который провёл в Москве свой I съезд.

Первое время по возвращении из Кабула в Москву Фёдор Фёдорович долго страдал из-за случившегося между ним и Ларисой разрыва, но потом понемногу успокоился и сошёлся с сотрудницей литературно-художественного журнала «Прожектор» Наташей Пилацкой. Но жизнь у них почему-то не сложилась, и вскоре они разошлись, а в 1930 году Раскольников женился на молоденькой красивой студенточке с красивым именем Муза. Её-то он и увёз с собой сначала в Эстонию, а затем в Бельгию и в Болгарию, куда его направили работать полномочным представителем СССР и где они потом жили до самого их бегства в Париж, скрываясь там от требований власти срочно вернуться в Россию, где ему (а скорее всего и ей за компанию) грозил арест и, вероятнее всего, расстрел.

* * *

Во время работы Раскольникова в Софии болгарская полиция зарегистрировала в качестве посетителей советского посольства более 100 представителей болгарской творческой интеллигенции – они неизменно составляли большинство на всех советских приёмах. В полицейском досье на советского полпреда подчеркивается, что Раскольников пользуется расположением творческой интеллигенции и журналистов как человек «по-настоящему интеллигентный и культурный».

Раскольников осаждают просьбами дать свои произведения для издания на болгарском языке, разрешить постановку его пьесы «Робеспьер», болгарские литераторы присылают ему свои труды на рецензию.

Раскольников довольно быстро овладел болгарским языком и сейчас же загорелся идеей перевести на русский особенно полюбившееся ему из болгарской литературы с намерением опубликовать переводы в Москве. Особенно нравились ему стихи Христо Ботева, многие из которых он впоследствии перевёл.

София понравилась ему своим живописным расположением, уютными улицами, обилием цветов и зелени. С приобретением кадиллака Раскольников стал совершать поездки по всей стране – он посетил 20 городов и множество сёл. То-то задал он работы филерам!

Особый интерес у него вызывали болгарские монастыри и церкви, хранившие шедевры болгарской средневековой иконописи. В монастырской книге Люлинского монастыря «Св. Крал» Фёдор оставил такую запись: «Приехал из России, где уничтожены давно все монастыри и церкви. С особенной радостью посетил и посещаю святые обители, где, как когда-то и на моей Родине, теплится истинная христианская вера на радость и утешение народу. Молю Бога о вечном существовании Вашей обители».

Игумен монастыря, предоставивший дирекции полиции монастырскую книгу, сообщил, что Раскольников неоднократно бывал в этом монастыре и каждый раз, входя в церковь, зажигал свечи и крестился.

* * *

Но всё это – только беглые штрихи к его буйной и густо насыщенной различными событиями биографии, погружение в которую впечатляет не меньше, чем некоторые авантюрно-приключенческие фильмы или книги. Он ведь и сам был довольно неплохим писателем, написавшим несколько биографических книг о революции, гражданской войне, революционных морях и других острых темах 1920–1930-х годов. Это такие книги, как «Кронштадт и Питер в 1917 году», «Рассказы мичмана Ильина», «Афганистан и английский ультиматум», «Кронштадтцы: Из воспоминаний (1917)», «Рассказы комфлота», «Пробудившийся Китай», пьесы «Робеспьер» и «Воскресенье», а также множество других публицистических, исторических и биографических работ.

Сохранилось также много неопубликованных рукописей Раскольникова, которые посвящены лите-

ратурным проблемам и таким писателям, как Достоевский, Маяковский, Эренбург, Есенин и другие, а также международным темам, и в частности – разоблачению таких фашистских диктаторов, как Муссолини, Гитлер и Пилсудский. Среди его рукописей имеется и такая любопытная работа, как «Очерки по истории цензуры XX века». В литературных архивах Фёдора Раскольникова хранятся также сделанные им вполне приличные переводы болгарских поэтов, а также до сих пор нигде ещё не печатавшиеся его собственные стихи – такие, как стихотворение «Зима в Софии», написанное 2 января 1938 года:

*Летят снежинки, мёрзнут уши,
Нависла пасмурная мгла.
Какие царственные груши
Вчера кухарка принесла!*

*Летят, спешат во все концы
Автомобили и коляски,
Звенят игриво бубенцы,
Несутся под гору салазки.*

*По снежным улицам визжат,
Скрежещут длинные полозья,
И на морозе дребезжат
Полураздетых нищих просьбы.*

*И Витоша, и Муссала́,
И Красный флаг над белым домом.
Какие древние слова
Поют болгары дружным хором!*

*Летят снежинки, мёрзнут скобы,
Нависла сумрачная мгла.
И белоснежные сугробы
Метель до крыши намела.*

Принадлежность Раскольникова к числу профессиональных авторов сомнений не вызывает, достаточно раскрыть любую из его книг или статей, и станет отчётливо видно, что перед нами – настоящий писатель. «Три миноносца, как чёрные лебеди, плывут по широкой и многоводной Каме, – поэтически начинает он свой материал «Люди в рогожах», посвящённый рейду большевистских военных кораблей к Казани. – Острые форштевни узких миноносцев с лёгким журчащим плеском рассекают гладкую тёмно-синюю воду. В стройной кильватерной колонне головным идёт «Прыткий», за ним «Прочный» и, наконец, замыкает шествие «Ретивый». Тёмная, беззвёздная осенняя ночь окутывает реку непроницаемой мглой. Изредка мелькают красноватые огни прибрежных сёл и деревень.

Тихо подрагивает стальной корпус военного корабля. В душном и грязном котельном отделении кочегары, мускулистые, как цирковые атлеты, сняв рубахи, ловко подбрасывают в открытые топки тяжёлые лопаты мелкого каменного угля. Машинисты осторожно, не спеша выливают из длинных и узких горлышек маслёнок тёмное и густое смазочное масло на легко ныряющие быстрые поршни.

На высоком мостике головного миноносца рядом со мной, держась за рога штурвального колеса и зорко вглядываясь в ночную мглу, стоит рулевой. Старый лоцман с длинной седой бородой, достигающей пояса, в чёрном поношенном картузе и долгополом пальто похож на старообрядца-начётчика...»

А с какой любовью Фёдор Фёдорович Раскольников рисует в одной из своих книг образ Владимира Ильича Ленина! Страницы, посвящённые его приезду в Петроград, его кипучей деятельности по руководству восстанием и описание встреч с Владимиром Ильичом в Центральном Комитете партии и редакции «Правды» – пожалуй, одни из самых лучших мест в его литературном наследии.

Но самые весомые, смелые, отчаянные и в то же время вызывающие неистовые споры работы Раскольникова – это два его публицистических письма, одно из которых называется «Как меня сделали «врагом народа»», а второе – «Открытое письмо Сталину». Каждое из этих писем дышит обжигающей правдой, свидетельствуя о том, что Раскольников уже давно видел психопатические особенности сталинского характера, власть которого держалась исключительно на растущем в государстве массовом страхе, внедряемом в людей постоянно угрожающими им огромными лагерными сроками да расстрелами. Правда, в этих невероятно смелых письмах почему-то нет ни малейшего намёка на причастность самого Раскольникова к тем невиданно жестоким репрессиям, которые щедро сеял в стране Иосиф Сталин. Ведь он тоже принимал в них не последнее участие...

В архивных недрах ВКП(б) находится досье на Фёдора Фёдоровича Раскольникова с такой характеристикой: «Неглупый человек. Достаточно отшлифован для своей дипломатической карьеры и умеет держаться в любом обществе. Он прекрасно знает, что нарушение общепринятых правил этикета, которое он себе позволит, ему простят как дипломату новой формации, а известными кругами это будет даже приветствоваться. Энергичен. Для чисто партийной работы в Советской России он не был бы годен, так как он ближе к буржуазии, чем к пролетариату. Он предан пролетариату только до тех пор, пока пролетариат связывает его с прошлым и позволяет вести ему буржуазный образ жизни».

* * *

Неоднократно вызывавшийся по требованиям власти в Москву, Фёдор Раскольников всячески затягивал своё возвращение домой, опасаясь царящих в стране репрессий, но 1 апреля 1938 года он всё-таки выехал из Софии на Родину. Но ехал почему-то так медленно, что 6 апреля 1938 года «Правда» не выдержала и опубликовала сообщение об освобождении его от обязанностей полномочного представителя СССР в Болгарии. Узнав об этом, Раскольников в Москву не поехал, так как понимал, что его возвращение закончится арестом и, скорее всего, расстрелом. Поэтому через Берлин он с женой проследовал до Брюсселя, а спустя несколько недель обосновался в Париже. Писал оттуда Сталину письма, требуя для себя открытого суда. Впоследствии он был заочно исключён из партии, а 17 июля 1939 года Верховный суд СССР объявил Раскольникова «вне закона» и лишил его советского гражданства и всех правительственных наград, что несло за собой высшую меру наказания. Проект этого приговора утвердили непосредственно Сталин и Молотов.

В качестве реакции на этот жест Москвы Раскольников публикует на страницах парижской эмигрантской газеты Милюкова «Последние новости» своё отчаянное письмо «Как меня сделали «врагом народа», после чего работает над ещё более дерзким посланием под названием «Открытое письмо Сталину», в котором он обличает антинародную деятельность Иосифа Виссарионовича и чинимые им массовые репрессии в отношении «большевистской гвардии».

Опасаясь мести вождя, Раскольников с Музой уехали из Парижа на Лазурный берег и там постоянно перемещались из одного прибрежного городка в другой, чтобы их нигде не засекали посланники Берии. Но они их, похоже, всё-таки выследили. И 12 сентября 1939 года в Ницце при невыясненных обстоятельствах Раскольников выпал из окна частного госпиталя, в котором он прятался от начатой на него Сталиным охоты, и разбился насмерть. Согласно одной из распространенных в газетах версий, он таким образом был убит вышедшими на его след агентами НКВД, одним из которых был муж поэтессы Марины Цветаевой, хорошо знавший Францию и владевший французским языком, а потому специально для этой цели направлявшийся из Москвы на Лазурный берег для поисков Раскольникова. Впоследствии, по выполнению смертного приговора обидчику вождя, и сам Сергей Эфрон тоже был уничтожен организацией Лаврентия Берии.



**(14 апреля 2018 года исполнилось
130 лет со дня рождения поэта В.И. Нарбута.
В этот же день исполнилось
80 лет со дня его трагической смерти в 1938 году)**

Из истории русской литературы на несколько десятилетий было вычеркнуто имя поэта-акмеиста Владимира Ивановича Нарбута, бывшего когда-то другом Гумилёва, Мандельштама, Городецкого, Зенкевича и Ахматовой. Возвратилось оно в российскую культуру только летом 1978 года – после того, как в шестом номере популярного в то время журнала «Новый мир» появилась биографическая повесть Валентина Петровича Катаева «Алмазный мой венец», в которой был выведен неповторимый образ этого поэта, упрямого под псевдонимом – Колченогий.

У Нарбута действительно была заметная хромота, которую он получил в юные годы, наступив босой ногой на ржавый гвоздь и заработав, таким образом, себе гангрену, из-за чего ему вырезали всю правую пятку. Нарбут вообще как-то притягивал к себе всевозможные беды, которые то и дело перемежались собой его бурную и яркую жизнь. Ещё в самом раннем детстве, когда он поливал дома из лейки цветочную клумбу, его отец Иван Яковлевич совершил одну идиотскую шутку. Он подкрался со спины к своему пятилетнему сынишке и неожиданно страшно и громко гаркнул ему в детское ушко, из-за чего малыш настолько испугался, что с этого момента на всю жизнь стал заикой. После

этого он во время разговора вдруг начинал спотыкаться и с напряжением повторял слово-вставку: «ото...». «С точки... ото... ото... ритмической, – говорил он при обсуждении чьих-нибудь слабых стихов, – данное стихотворение как бы написано... ото... ото... сельским писарем».

В 1908 году окончив гимназию, Владимир Нарбут поступил в Петербургский университет и вскоре начал печататься в тамошних журналах. В 1910 году у него выходит первый поэтический сборник «Стихи», который оформил его брат Георгий. В нём было 77 стихотворений, посвящённых вечно звучащим в поэзии темам: любви, разлуке, пейзажам родного края.

Критика встретила этот сборник весьма благосклонно, он не затонул в литературном потоке, его заметили. О нём написал несколько сочувственных слов Валерий Брюсов, отозвались Николай Гумилёв и Владимир Пяст.

А в 1912 году Владимир выпустил книгу стихов «Аллилуйя», которую Священный Синод предал сожжению. Вот фрагменты одного из самых характерных для него стихотворений под названием «Лихая тварь», речь в котором идёт о ведьме-оборотне, растленной лесовиком:

*...Ох, кабы не зачастила
по грибы да шляться в лес, –
не прилез бы он, постылый,
полузверь и полубес;*

*не прижал бы, не облапил,
на постель не поволок.
Поцелует – серый пепел
покрывает смуги щёк...*

Стихи его в какой-то мере переполнены животной плотскостью и сочностью – хотя, мне кажется, ничуть не безобразной, а просто неприкрытой и перешагнувшей через интеллигентскую стыдливость и не скрывающей тайну интимной близости. Таковым, например, является его стихотворение «Клубника», включённое в тот же сборник «Аллилуйя», в котором воспевается именно тяга к физической близости:

*... Тем временем Дуня убрала посуду;
Язык соловьиный (за сколько сестерций
помещицей куплен?) притихнул повсюду.
И, шлёпая пятками, девка в запаске,
арбузную грудь напоказ обтянувшей,
вильнула за будку. Потом – за коляски,
в конюшню – к Егору, дозор обманувши.
И ляжкам пружистым – чудесно на свитке
паяться и вдруг размыкаться, теряя.
А полдень горячий подобен улитке...*

Так что и здесь отчётливо видится, что Нарбут решительно предпочитает пошловатой двусмысленности стихов своих предшественников грубую откровенность. Да и сам он в те годы жил, как говорится, взахлёб, кутил с купеческим размахом. Бывало, бил зеркала в ресторанах. Стригся у самого дорогого парикмахера Петербурга. Роскошно одевался. И писал стихи. Николай Гумилёв называл самыми талантливыми поэтами в группе акмеизма Ахматову и Нарбута...

После революции 1917 года Нарбут в своей Глуховской волости «последовательно отстаивал в Совете большевистские позиции», так как он был единственным, кто после 25 октября требовал поддержки и осуществления декретов Советской власти в Глухове. И он был избран в Глуховский совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, несмотря на бурно развёрнутую в местной печати кампанию против «большевика и поэта-футуриста».

А в новогоднюю ночь 1918 года семья Нарбута, которая собралась для празднования на усадьбе его первой жены Нины Лесенко в Хохловке, подверглась нападению банды «красных партизан», которые про-

мили «помещиков и офицеров». Отец Владимира Ивановича шустро успел выскочить в окно и убежать, его жена с двухлетним Романом быстро спряталась под стол, а остальных буквально растерзали. Был убит брат Владимира Сергей и многие другие обитатели Хохловки. Самого Владимира Ивановича тоже считали убитым. Всех свалили в хлев. И навоз не дал замёрзнуть тяжело раненному Нарбуту. На следующий день его нашли. Жена погрузила его на возок, завалила хламом и свезла в больницу. У него была прострелена кисть левой руки и на теле имелось несколько штыковых и пулевых ранений. Из-за начавшейся гангрены кисть левой руки ему ампутировали. Так к хромоте правой ноги у Владимира добавилось ещё отсутствие левой кисти.

Приходя после той ночи в больницу, где лежал в бинтах Нарбут, партизаны интересовались у медсестёр, жив ли он ещё, но Владимиру показалось, что они при этом не столько волнуются о состоянии его здоровья, сколько прикидывают, где и как им его будет лучше добыть.

Весной 1918 года, немного окрепшего после ранений во время налёта на него в Хохловке, Владимира отправили в прифронтовой Воронеж для организации большевистской печати. Он работает «сменным редактором» «Известий Воронежского губисполкома», председателем губернского «Союза журналистов» с клубом «Железное перо», ведёт воскресную «Литературную неделю». А сверх всего этого он организовал и создал буквально на голом месте «беспартийный» литературно-художественный журнал-двухнедельник «Сирена», который становится первым литературным периодическим изданием в пореволюционной, разорённой России, собрав на своих страницах весь цвет отечественной литературы.

В середине 1919 года он живёт в Киеве, куда был отозван «для ведения ответственной работы».

31 сентября того же 1919 года белогвардейцы захватывают Киев. Красная армия уходит из него, а вместе с ней его покидают все большевики и те сторонники советской власти, которые не ставили своей целью остаться для работы в подполье. И только Владимир почему-то продолжает находиться в расстерянности, медля с принятием какого-либо ясного решения. Скорее всего, это произошло из-за смерти его отца – Ивана Яковлевича, умершего примерно в эти же дни, и это вынудило Владимира заниматься его похоронами. Из-за этого он промедлил тот момент, когда можно было спокойно уйти вместе с красными частями из Киева, но и оставаться в городе с беженцами у него особенного желания тоже не было. Лучшим вариантом ему показалось прорваться туда, где не было ни красных, ни белых, ни зе-

лѐных, ни черносотенцев, вообще никого, как это было в то время, по слухам, в Тифлисе, а «там – успокоиться, прийти хоть немного в себя».

Оставив Киев, он направился в сторону Кавказа, но 8 октября в Ростове-на-Дону он был арестован контрразведкой Добровольческой армии как «большевицкий редактор, поэт и журналист» да ещё и член Воронежского губисполкома.

Первый допрос Нарбута в белогвардейской контрразведке начался уже 9 октября 1919 года, и в этот же день он начал писать свои спасительные «признания», уверяя следствие, что: «Я всей душой, всем своим существованием ненавижу большевиков, оторвавших у меня всё, лишивших меня всего, всего дорогого, не говоря о калечестве...»

Своих товарищей по партии Нарбут характеризовал с необычайной, предельно взвинченной эмоциональностью, так, что даже не верится, что это писал не кто-то другой, а он собственноручно: «Ненависть к ним возросла у меня ещё больше, и я с лихорадочным вниманием прислушивался ко всему тому, что говорилось о походе против большевиков. Я уже знал, уже точил нож мести против тех убийц (я поклонялся перед трупом брата убить их, я их знаю!), которые напали тогда ночью... но судьба опять толкнула меня в лапы поработителей...»

В конце своего объяснения он уже чуть ли не захлёбывается написанным им в высшем возбуждении монологом: «Я приветствую вас, освободители от большевистского ига!! Идите, идите к Москве, идите, пусть и моё мерзкое, прогнившее сердце будет с вами... только не отталкивайте меня зря!.. О, как я буду рад, если мне будет дано право участвовать в деле обновления России. А может, возможно и моё возрождение? Не знаю, но всё то, что я написал, правда – от первой до последней строки. Это – моя исповедь...»

Эти чудовищные «исповеди» ровно на три месяца отодвинули грозивший тогда Владимиру расстрел – арестованный 8 октября 1919 года, он был освобождён из белогвардейской контрразведки конницей Будѐнного только 8 января 1920 года. И сразу же окупился в литературную деятельность на Украине.

Уже вскоре после освобождения у него вышла новая поэтическая книга «Плоть. Быто-эпос», составленная из стихов 1913–1914 годов. «Его поэзия, – отмечает Катаев, – в основном была грубо материальной, вещественной, нарочито корявой, немusыкальной, временами даже косноязычной... Но зато его картины были написаны не чахлой акварелью, а густым рембрандтовским маслом. Колченогий брал самый грубый, антипоэтический материал, причём вовсе не старался его опoэтизировать. Наоборот. Он его ещё более огрублял...»

С 14 апреля 1920 по 14 апреля 1921 года Владимир Нарбут ровно год прожил в Одессе, а в 1921 году выпустил очередной свой сборник «Земля советская», в который вошли его стихи минувшего одесского периода, о котором в прессе было сказано, что: «В старые формы акмеизма, в которых застыли многие наши поэты, Вл. Нарбут сумел влить живое содержание, искренность чувств и неподдельный революционный энтузиазм».

В 1922 году он женился на бывшей жене писателя Юрия Олеси, которую он у него отбил, – Серафиме Густавовне Суок, впоследствии выведенной Олешей в образе куклы в его романе-сказке «Три толстяка».

Обосновавшись в российской столице, Владимир работал в Наркомпросе; основал и возглавил издательство «Земля и Фабрика» («ЗиФ»), на его базе в 1925 году основал ежемесячник «Тридцать дней» – тот, где впервые увидел свет роман Ильи Ильфа и Евгения Петрова «12 стульев».

В 1922 году он обживаетеся в Москве, в 1924–1927 годах он был уже заместителем заведующего Отделом печати при ЦК ВКП(б), а в 1927–1928-м – стал одним из руководителей ВАПП (Всероссийской ассоциации пролетарских писателей). В том же 1922 году им было переписано потрясающее стихотворение «Самоубийца» («Ну застрелюсь. И это очень просто: нажать курок, и выстрел прогремит...»), завершающееся строчками:

*И ты, ты думаешь, по нём вздыхая,
что я приставлю дуло (я!) к виску?
...О, безвозвратная! О, дорогая!
Часы спешат, диктуют жизнь: «ку-ку»,
а пальцы, корчась, тянутся к курку...*

Вспоминая в своих мемуарах это нарбутовское стихотворение, Валентин Катаев после обширной цитаты из него заключает: «Нам казалось, что ангел смерти в этот миг пролетел над его наголо обритой головой с шишкой над дворянской бородавкой на его длинной щеке... Нет, колченогий был исчадием ада».

Друзья-поэты – такие как Асеев, Зенкевич и Ахматова – посвящали Владимиру Нарбуту свои стихи. Прозаик Юрий Карлович Олеша вывел его в своём романе «Зависть» в образе директора огромной колбасной фабрики. Валентин Петрович Катаев изобразил его в своём рассказе «Бездельник Эдуард», опубликовав этот рассказ ещё при жизни Нарбута и написав в нём: «заведущий «ЮгРОСТА», демонический акмеист и гроза машинисток». А Михаил Булгаков срисовал с не-

го образ Воланда для своего знаменитого мистического романа «Мастер и Маргарита».

Идейные споры о новом понимании искусства и возникающие в результате этого писательские конфронтации против собственной воли втягивают Нарбута в круг околослужебных интриг и баталий. Поглощённый партийной и литературно-организаторской деятельностью, он неожиданно попадает в течение сложного и неоднозначного социально-политического процесса, что приводит его к падению с высоты административной системы: неожиданно появляются свидетельства о том, что в деникинской контрразведке Нарбут письменно отрёкся от своей большевистской деятельности.

Инициатором этого его «разоблачения» является его идейный оппонент Александр Константинович Воронский.

В результате разгоревшегося конфликта в 1927 году ЦК решил, что вина Нарбута тяжелее, чем вина Воронского, и исключил Владимира Ивановича из партии с формулировкой «за сокрытие ряда обстоятельств, связанных с его пребыванием на юге во время белогвардейской оккупации». (А по сути – этим ему был вынесен смертный приговор, но только с отсрочкой исполнения.)

Но в этом споре не оказалось победителей. Погибли оба.

Воронский был арестован 1 февраля 1937 года. Обвинённый в создании подрывной террористической группы, готовившей покушения на руководителей партии и правительства, 13 августа 1937 года он был приговорён Военной коллегией Верховного суда СССР к высшей мере наказания и вскоре же расстрелян. В лагерях оказались также его жена и дочь.

В ночь с 26 на 27 октября 1936 года по обвинению в пропаганде «украинского буржуазного национализма» Владимира Нарбута арестовали, а 23 июля 1937 года постановлением Особого совещания при НКВД СССР он был осуждён на пять лет лишения свободы по статьям 58-10 и 58-11 УК РСФСР. Осенью он был этапирован в пересыльный лагерь под Владивостоком, а в ноябре – транспортирован в Магадан.

В начале марта 1938 года Владимир вместе с такими же, как он, инвалидами был актирован медицинской комиссией и этапирован в карантинно-пересыльный пункт № 2 под Магаданом. Здесь против него 2 апреля 1938 года, во время кампании массового террора в колымских лагерях, вошедшего в историю под названием «гаранищина», было возбуждено новое уголовное

преследование по обвинению в контрреволюционном саботаже. И 7 апреля 1938 года дело девяти саботажников со 2-го карантинно-пересыльного пункта было представлено на рассмотрение Тройки УНКВД по «Дальстрою». Самым лаконичным решением в ходе исполнения ежовского приказа № 00447 в магаданском лагере «Дальстрой» могло быть только одно-единственное слово – расстрел. И оно прозвучало. 14 апреля 1938 года в день пятидесятилетия Владимира Ивановича Нарбута он был расстрелян.

И вот сегодня, спустя 131 год со дня его рождения и 81 год со дня его страшной смерти, поэт Владимир Нарбут и его необыкновенные стихи возвращаются на просторы русской литературы, где его уже давно ожидают читатели...

ПОЭЗИЯ И ЖЕНЩИНЫ В СУДЬБЕ ГЕОРГИЯ ШЕНГЕЛИ



Э то был удивительный человек, который ходил по Одессе босиком, в удлинённом сюртуке, обрезанных до колен брюках, носил чёрное шерстяное одеяло вместо плаща, твёрдый пробковый шлем вместо шляпы и мечтал поселиться и жить в помещении на верху башни маяка. Он писал чудесные стихи в классическом стиле, большие замечательные поэмы, уникальные стиховедческие работы и делал невероятное количество прекрасных поэтических переводов. Когда он окунался в создаваемую им пушкиниану, то отращивал огромные пушкинские бакенбарды; когда переводил байроновского «Дон Жуана», то носил старомодный, просторный, шумящий складками плащ и отпускал длинные волосы; а когда погружался в переводы Виктора Гюго, то отращивал себе большую бороду, превращаясь уже во французского знаменитейшего поэта, и тогда в его доме велись долгие беседы в стиле начала девятнадцатого века, при этом поплотнее зашторив окна и закрыв тёмными гардинами двери, жгли вечерами свечи в серебряных старых подсвечниках, и звучала заграничная чистая речь.

Так он вживался в мир изучаемых и переводимых им поэтов.

В 1920–1930-е годы он был в высшей степени известен читающей публике нашей страны и даже занимал в течение нескольких лет пост председателя Всероссийского союза поэтов! При этом он был необыкновенно продуктивен: при его жизни вышло семнадцать книг стихов, а также 140000 строк переводов Байрона, Верхарна, Гейне, Гюго, Эредиа, Бодлера, Леконта де Лиля, Горация, Хайяма и других зарубежных и национальных авторов.

В вещах одного из погибших во время Великой Отечественной войны под Уманью советских воинов обнаружили насквозь пробитую немецкой пулей и залитую кровью небольшую поэтическую книжку с фамилией на обложке – Шенгели. Фамилию этого автора до пятидесятых годов в нашей стране знали очень многие – одни его любили, другие едва терпели, третьи старались молчать о нём, но это была – личность.

* * *

Георгий Аркадьевич Шенгели родился 20 апреля (по новому стилю – 2 мая) 1894 года в городке Темрюк, расположенном в Краснодарском крае, в

самом устье реки Кубани, впадающей в Азовское море. Его отец – Аркадий Александрович Шенгели (1853–1902) был известным в Темрюке адвокатом, мать – Анна Андреевна Шенгели, урождённая Дыбская (1862–1900). В первых детских впечатлениях Георгия остались пейзажи с берегов Кубани, Азовское побережье, лиманы и, конечно же, морские волны, в которых вечно играют слепящие глаза солнечные блики. Кажется, детство начинается благополучно и безоблачно.

В 1898 году семья переехала в сибирский город Омск, откуда в 1899 году маленький Георгий ездил с мамой в Москву, где она лечилась от какой-то серьёзной болезни. А 6 февраля 1900 года (по старому стилю) мать умерла.

Осенью 1901 года отец женился вторично, а Георгий открыл для себя радость процесса чтения – «проглотил» книги Жюль Верна, Уэллса, Марка Твена, Джерома, Гоголя и многих других.

28 февраля 1902 года в Тюмени внезапно скончался отец, после чего Шенгели с сестрой были взяты на попечение бабушкой со стороны матери – Марией Николаевной Дыбской (1840–1914), и с той поры Георгий жил у неё «под крылом» в Керчи. Как он написал: «на бабушкину пенсию и маленькое отцовское наследство, развёрстанное «до окончания гимназии».

Шенгели долго обитал в этом южном городе над проливом, соединившим Чёрное море с Азовом, и Керчь с этой поры стала любовью поэта на всю его жизнь, именуясь в стихах не иначе как «мой город», «любимый город», который ещё не однажды оживёт и откликнется в его поэтических строках:

*Помнишь день, когда тебе впервые
В синем небе белые ладьи
Развернули паруса тугие
В запредельном бытии?*

*Помнишь – в сердце – в эти миги трепет?
Ты не знал, что это стих цветёт,
Что в тебе уже поэт лепит
Море, вечность, неба разворот...*

В Керчи он впервые увидел море, а также поразившие его своим поэтическим видом корабли. Золотые годы детства и юности, проведённые им в Керчи, около моря, – это самое счастливое время в его жизни. (Эти дни очень хорошо описал в своём очерке «Поэт Георгий Шенгели и его Крым» современный харьковский писатель Сергей Шелковий.) Память об этих днях, омытых ветром и солнцем, поэт проносит через все последующие годы. И даже на старости своих

лет, возвращаясь мысленно к любимым берегам, он напишет строки о белом домике в Еникале, стоящем над самыми водами Киммерийского Босфора, который он никогда не забывал и хранил в своём сердце как образ земного рая:

*Где-нибудь – белый на белой скале –
Крохотный домик в Еникале...*

*Город в две улицы узким балконом
Выпятился над проливом зелёным;
Степь с трёх сторон,*

*а с четвёртой – простор:
Ветер и зыбь, Киммерийский Босфор...
Здесь доживают в безмолвьи суровом
Площадь в булыжнике средневековом,
Замок турецкий и греческий храм,
И – старики... Хорошо бы и нам
Выискать белый, в проулке дремливом,
Крохотный домик над рыжим обрывом,
Стол под широким поставить окном,
Лампу зелёным покрыть колпаком,
Наглухо на ночь закладывать ставни,
Слушать норд-оста мотив стародавний,
Старые книги неспешно листать
И о Несбывшемся вновь поминать:
Очень подходит к томительной теме
Медленное – по-еникальски – время...*

Здесь, на родных керченских берегах, хотел бы он подвести итоги своей жизни, бурной и наполненной многими значительными событиями. Годы Георгия Шенгели сполна отмечены яркими событиями его внутренней творческой жизни. И этому творческому богатству, отмеченному неповторимостью личностной духовной силы, ещё только предстоит стать по достоинству оценённым его наследниками – читателями русской поэзии.

Учился Шенгели в Керченской Александровской мужской гимназии, где с третьего класса начал подрабатывать репетиторством, а с 1909 года уже сотрудничал в газетах «Керчь – Феодосийский курьер», «Керченское слово» и других, писал для них хронику, фельетоны, статьи по авиации.

В 1910 году он съездил к своему дяде в Харьков. А в 1911 году побывал у другого дяди Александра Андреевича в Одессе, где, как он записал в своём дневнике, у него была «первая женщина». В 1912 году он бросил гимназию и отправился в Иркутск к своему брату Владимиру, который служил там младшим офицером. Позже Георгий напишет в своей первой книге стихов об этой поездке:

*...Сосны и ели, горы, тайга,
Тускло блестели льды и снега,
Там, подо мною, мягко сверкал
Синей волною грозный Байкал...*

По возвращении в Керчь Георгий провалился на экзамене и был из-за этого оставлен на второй год в седьмом классе. В этом же году (то есть в 1912-м) он влюбился в Паню Грипенко и начал писать стихи, а также серьёзно заинтересовался стиховедением. Он обратил внимание на то, что «ямб Пушкина не совпадает с определением ямба в школьном учебнике», и это подтолкнуло его к «систематическим наблюдениям над фактурой стиха у больших поэтов», а также к чтению стиховедческой литературы. Таким образом, поэтическая и стиховедческая работы начались, в сущности, одновременно и продолжались до самых последних месяцев его жизни, взаимно обогащаясь, когда одно вырастало из другого.

Благодаря учителю французского языка в керченской гимназии Станиславу Антоновичу Краснику Шенгели довольно быстро и накрепко приобщился к французской поэзии. Тот способствовал его приобщению к стихам С. Малларме, Ж.-М. Эредиа и других французских авторов, выступая в качестве первых критиков его переводов на русский.

Тем же летом 1914 года Георгий поступил на юридический факультет Московского университета; несколько месяцев жил в Москве, гостил на даче у Давида Бурлюка на хуторе под Москвой. На московских бульварах несколько раз встречался с Маяковским – но «отношения не налаживались», встречи неизменно кончались обоюдной пикировкой. Да и сама московская жизнь на этот раз не задалась. Поэтому поздней осенью этого года Георгий Шенгели перевёлся «по прошению» из Московского университета в Харьковский, где служил брат его рано умершей матери, его дядя – профессор химии Владимир Андреевич Дыбский, чья дочь Юлия вскоре станет первой женой Георгия. Эта молодая, красивая женщина с грустным бледным лицом и удивительными зелёными глазами была одновременно и его жена, и двоюродная сестра. Да ещё и служила корректором.

В 1916–1917 годах Шенгели был приглашён Игорем Северяниным в турне по городам России, Украины и Кавказа с предложением читать в каждом городе о нём доклады, а также читать свои собственные стихи. В одном из своих стихотворений Северянин так написал об этих выс-

туплениях в своём сборнике «Соловей» под названием «Георгий Шенгели»:

*Ты, кто в плаще и в шляпе мягкой,
Вставай за дирижёрский пульт!
Я славлю культ помпезный Вахха,
Ты – Аполлона строгий культ!..*

Предложенная Северяниным поездка длилась в течение всего 1916-го и первой половины 1917 года, в неё входили города Петроград, Москва, Одесса, Кутаис, Тифлис, Баку, Армавир, Екатеринодар, Новороссийск, Ростов, Таганрог, Харьков, Батуми... Проходивший в каждом из этих городов поэзоконцерт открывался докладом Шенгели о творчестве Северянина – «Поэт вселенчества», после чего ещё читался доклад о каком-нибудь интересном зарубежном поэте вроде Верхарна, затем выступали кто-то из артистов, а в завершение вечера читал свои поэмы сам Игорь Северянин.

* * *

В 1918 году Георгий успешно окончил университет, обретя диплом юриста, а в мае 1919-го был командирован из Харькова в Севастополь в качестве «комиссара искусств республики Таврида». Познакомившаяся с ним в то время Мария Заславская так описывала его в своих воспоминаниях:

«Впервые я его увидела в дверях канцелярии Севастопольского ГорОНО. Ему двадцать пять лет. Он в расцвете своих физических и творческих сил, и он был обворожителен.

Высокая и стройная фигура гармонировала с милым, выразительным лицом, смотревшим весело и приветливо, горящими тёмными глазами, ясной улыбкой на ярких пунцовых губах.

Он просит секретаря срочно собрать коллектив отдела искусств. На собраниях в те времена присутствовали все сотрудники от технических, кончая комиссарами.

Георгий Аркадьевич выслушивал внимательно и уважительно всех, подчёркивая всем своим поведением, что ему важно мнение каждого сотрудника. Уборщицу он выслушивал с не меньшим вниманием, чем специалистов. На его заседаниях обычно присутствовали все. Отсутствующих не бывало.

Через пять минут уже все сидели на скамьях зала заседаний.

На повестке обсуждалась организация музы-

кальной школы. Рассмотрение списка будущих учащихся проходит быстро и гладко. Вдруг раздаётся неожиданная реплика:

– Не стоит брать в училище детей буржуазной сволочи!

– Неужели же мы поступим, как буржуазия? Мальчик – сирота. Оттолкнём мы его – он своим необычным голосом будет служить интересам буржуазии; воспитаем мы его – он будет служить революции, – спокойно и убедительно возразил Шенгели.

Георгий Аркадьевич сумел всех увлечь работой. Всюду виднелась его высокая, стройная фигура. Музыкальная школа, клубы, театр, литературные студии, лекции, беседы – весь конгломерат культурных мероприятий вызван им к жизни.

Жизнь кипит! Георгий Аркадьевич постоянно с массами, вызывает общую симпатию, расположение и стремление ему помогать.

И вдруг надо спешно уходить!»

Большевики покинули Крым. После эвакуации их из Крыма Шенгели вынужден был скрываться от белогвардейцев и с выданным Севастопольской парторганизацией фальшивым паспортом пробрался сначала в Керчь, а осенью оттуда – в Одессу, где прожил почти два года. Достать для Шенгели паспорт поручил большевик «тов. Иванов», а передавала его Заславская, договорившись о встрече на Приморском бульваре.

« – Завтра к 10 часам утра пойдёте в аллею вздохов на бульваре, а когда он будет вас обнимать, положите ему паспорт в один из карманов. Ясно? – дал задание «тов. Иванов».

– А где же я возьму паспорт?

– Свяжитесь с эсерами, меньшевиками. Они вам помогут.

– А если я не сумею достать?

– Вы должны достать! «Не» – не может быть! Поняли? Всё! Вам надо уходить. Опасаюсь, что за мной следят...»

Раздобыть паспорт помог Заславской левый эсер Иван Гапонов, сестра которого работала паспортисткой в милиции и перед уходом оттуда захватила с собой пять чистых паспортов. Заславская взяла у Гапонова два паспорта, чтобы передать их Шенгели.

«Приморский бульвар при спуске к морю имел три этажа. Из одной боковой аллеи, получившей название «аллея вздохов», шёл под мостиком спуск ко второй – широкой круглой площадке. Аллея вздохов – место свиданий. Вечером и ночью по ней бродят влюблённые.

Утро пасмурное и предвещало серый туманный день.

Нервно хожу по аллее.

– Неужели не придёт? Всё пропадёт впустую... Становится досадно. Самое трудное было достать паспорт. Как хотелось выполнить задание! Не скрою, приятно и свидание с Шенгели, хоть и на деловой почве.

Делаю не меньше десяти туров, как вдруг кто-то сзади меня осторожно обнял... Быстро оборачиваюсь и очутилась в его объятиях. Он! Протягиваю руку в направлении кармана его бархатной куртки, но не достаю. Он весело засмеялся, взял у меня пачку с паспортами. Сели на стоявшую рядом скамейку. Прислоняюсь к нему с нежностью любящей, тихонько посвящая его в историю обоих паспортов. Он тут же возвращает мне паспорт Гапонова.

Ничто в его поведении не намекает на смертельную опасность, грозившую ему, если бы нас накрыли.

Мой вид молодой девушки, маленькой и хрупкой, вполне удовлетворял требованию к объекту любовного свидания и не мог вызвать никакого сомнения.

Он вынимает из бокового кармана свою книжечку «Два «Памятника» (Пушкина и Брюсова) и дарит мне. Надпись он сделал ещё дома. Осторожно обнимает меня, почти не касаясь, чтобы не оскорбить моей девичьей скромности, в меру, необходимую для наблюдателя. Полагая, что наше свидание было уже достаточной длительности, чтобы убедить в его любовности, мы наконец поднялись, вместе дошли до ворот бульвара и разошлись в разные стороны.

Лишь спустя тридцать лет мы встретились...»

С января 1920 по август 1921 года Шенгели является главным редактором одесского Губиздата. В 1920 году здесь вышли «Избранные сонеты» Эредиа в его переводе и второе издание его «Еврейских поэм». А в 1921 году были напечатаны его драматическая поэма «1871 год» и сборник стихотворений «Изразец». Ещё в 1919 году в Одессе им были опубликованы отдельными изданиями драматическая поэма «Нечаев» и большая теоретическая работа «Трактат о русском стихе. Органическая метрика». Основная часть этого «Трактата» была наработана Шенгели ещё в Харькове, так же, как и переводы из Эредиа, включая его замечательного «Козопаса»:

*По спутанным следам в овраге этом диком
Зачем преследуешь козлиное руно?*

Ты не найдёшь его: становится темно.

Здесь ночи ранние в лесу под горным пиком.

*Давай присядем здесь. Внимая птичьим крикам,
Пробудем до утра. Есть фиги и вино.
Но тише говори: Дианы луч давно
Осеребрил весь лес, и боги в сне великом.*

*Гляди: вон узкий грот. Теперь укрылся в нём
Сатир приветливый. И если не вспугнём,
Он выйдет, может быть, из этой тёмной щели.*

*Ты слышишь? Ветерок свирели звук пронёс.
Он! Видишь, как рога его за луч задели,
Как он плясать повёл моих ленивых коз!*

Здесь же, в Одессе, в 1920 году было вообще положено начало циклу сонетов Шенгели, которые занимают особое место в его творчестве, заслуживая наименование «постгойевских», близких к фантазмагории. Эти стихи – воплощённые в безупречную классическую форму страшных картин гражданской войны, кровавой междоусобицы, безжалостной бойни, очевидцем которой пришлось быть Шенгели в 1918–1921 годах в Харькове и Керчи, в Севастополе и Одессе.

Так получилось, что летом 1924 года переехавший из Одессы в Москву Георгий Аркадьевич Шенгели развёлся со своей первой женой-красавицей Юлией Дыбской. Восемь предыдущих лет пролетели для него как в тумане – то ли была у него семья, то ли её не было, а скорее всего, она напоминала ему только иллюзию. Вспомним: в 1914 году он на Юлии женился. Весну, а также вторую половину 1916 года и первую половину 1917-го он «прокатался» с Игорем Северяниным по югу России и Кавказу, съезжал в Москву и Петроград, снова ехал в южные регионы страны. В перерыве отдыхал у Северянина на его даче в Гатчине, где тот старался привлечь его к рыбной ловле. Затем с 1919-го и до августа 1921 года Георгий находился сначала в Севастополе, а потом в Одессе, где он скрывался под фальшивым паспортом от белогвардейской разведки и одновременно занимался литературой... Где находилась Юлия в эти наполненные бродяжничеством мужа дни – никому неизвестно, но создаётся впечатление, что жизнь каждого из этих молодых супругов текла исключительно своим индивидуальным чередом...

16 июня 1924 года Шенгели сообщал письмом в Ленинград поэтессе Марии Шкапской: «С Юлей мы разошлись... Я убедился с полной отчётливостью, что Юля мои интересы, мой труд, моё здоровье с легчайшим сердцем приносит в жертву своим подругам и, дабы провести с ними время в Коктебеле, хладнокровно создаёт такую денежную обстановку, при которой мой отдых (и не

от работы, а от Москвы, от дрязг, от тягот), совершенно необходимый мне, – готов полететь к чёрту. Я не буду детализировать перед Вами всю эту грязь, ложь, шептанье и пр. Эту мою убеждённость я высказал Юле 10-го числа: произошла дикая сцена, в результате которой у меня прокушена рука (вот, пожалуй, «новое»), и я ушёл. На следующее утро, в отсутствие Юли, вернулся, собрал необходимые вещи и унёс их... Свободен. Тяжёлый опыт, занявший 9 лет в моей жизни, а отнявший, наверно, 20. Баста».

В преддверии замаячившей перед Георгием новой свадьбы он напишет небольшое стихотворение, посвящённое своему завершившемуся восьмилетнему с лишком браку с Юлией Дыбской, и напишет его, надо сказать, оставаясь при этом честным перед собой и перед словом, с документальной точностью о «первой измене и последней любви», а также о своей второй жене – Нине Манухиной:

*И к сердцу одному привычен,
В него я восемь лет входил
И, успокоен, безразличен,
Оставил в нём и пыль, и пыл.
Иное сердце предо мной,
Но горькой радости к истомам
Одной лишь мне идти тропой:
Войдя в него, я вскрою вену,
Ему отдам по капле кровь –
И первую мою измену,
Мою последнюю любовь.*

С момента женитьбы Георгия на Манухиной его жизнь начала «становиться на рельсы» – напишет он позже скупым телеграфным стилем на страницах своей «Автобиографии». И это произошедшее с ним «становление на рельсы» не в последнюю очередь случится благодаря его фантастической встрече с красавицей Ниной в Москве...

* * *

Нина Леонтьевна Манухина (в девичестве – Лукина) происходила из офицерской семьи. Поэтесса. Родилась в 1893 году на Украине, в городе Елисаветграде, и в самом раннем детстве вместе со своими родителями переехала оттуда в Москву. Училась в I Московской женской гимназии; одно из гимназических сочинений Нины было перепечатано в «толстом» журнале – отсюда можно считать её литературную деятельность.

Детство и юность Нины прошли в бедности, но

всё же она смогла окончить институт. После смерти отца, отличавшегося строгими правилами, мать вторично вышла замуж, а вскоре – вышла замуж и сама Нина Леонтьевна. Выращенная в семье принцессой, уверенная в себе, знающая цену своей эффектной привлекательности, уму и образованности, она с детства привыкла к себе как некоей высокой общепризнанной ценности.

Первым её мужем был московский преуспевающий врач Сергей Манухин – человек высококультурный, богатый и безумно её любивший. Она навсегда оставила за собой его фамилию как литературное имя, хотя любви к нему не разделяла и, по её откровенному признанию, вышла замуж только для того, чтобы вырваться, наконец, из обстановки опостылевшей бедности.

Её свадьба – это сладкий медовый месяц, прошедший на юге Франции и в Монте-Карло. А потом она долго лечила свои слабые лёгкие в швейцарском санатории в Давосе. Ну, а там как-то само собой оказался рядом с ней некий красавец француз граф Андре Фонтен. И соответственно – завязалась любовь, и был великолепный Париж, концерты Дягилева... Лёгкие останутся слабыми на всю жизнь, но Давоса больше не будет, он только мелькнёт ещё один раз лет тридцать пять спустя в стихах, словно впервые увиденный из окна вагона:

*Колоколенка вытягивает шею:
ей не терпится в вагон к нам заглянуть,
да под снежной ватой сосны, цепеня,
несговорчивые, заступают путь...*

Романтика любви Манухиной расшибётся вскоре о жестокий реализм Первой мировой войны. Граф на собственном аэроплане (как во времена Второй мировой войны Антуан де Сент-Экзюпери) отправится воевать и будет смертельно ранен. В революционно-обезумевшей Москве непостижимым образом найдёт Нину телеграмма от матери Андре, зовущая её срочно приехать, чтобы застать в живых её умирающего сына. Но о поездке в это время уже не могло быть и речи...

В «незабываемом 1918-м» году Нине Манухиной было двадцать пять лет. И она писала стихи – конечно же, о переживаниях, которые ей самой представлялись самыми единственными и неповторимыми и которые, будучи изложены на бумаге, были очень похожи на то, что сочиняли многие её сверстницы с благополучной изначально судьбой, надыхавшиеся декадентскими пряностями символизма. Но всё-таки это были уже настоящие стихи, заслуживающие к себе серьёзного внимания:

*Ночным медлительным покоем
Испепелён дневной костёр,
И пчёлы звезд лучистым роем
Усеяли небес шатёр.
Расплывчато маячат зданья,
Струится сонно тишина.
Душа, набухши от страданья,
Опять тоской оглушена...*

Георгий Шенгели, как сказал однажды выдающийся русский поэт, переводчик и художник Аркадий Акимович Штейнберг, «был магнитом, притягивающим сюда», а Манухина «ведала аурой, вольным воздухом, нехватка которого в стране и столице ощущалась, что ни год, всё острее». Но надо признать, что она и работала немало. Стихи писала редко, но зато переводила очень удачно: французских, грузинских, литовских, латышских поэтов, а также вороха стихов из среднеазиатских республик. Последнее было не более чем заработком, хотя тоже делалось добротнo. А среди переводов по выбору тоже есть настоящие удачи, как среди простой прибрежной гальки – блестящий изумруд.

Единственный сборник её стихов, называющийся «Не то...», вышел в 1920 году в небольшом городке Тверской области Кашине, расположенном к северу от Москвы, где в ту пору семья спасалась от голода. В 1920-е годы она была участницей «Никитинских субботников», печаталась в альманахах и часто выступала на модных тогда «вечерах поэтесс», где представляли своё творчество пишущие девицы всех направлений. Среди них мелькала и русская поэтесса-беспредметница Нина Хабиас (Оболенская), родившаяся в Москве в семье полковника П.Д. Комарова, брата писательницы Ольги Форш и троюродного брата Павла Флоренского. В сентябре 1921 года её выступлением в кафе «Домино» был шокирован простодушный поэт и журналист Тарас Григорьевич Мачтет, записавший об этом мероприятии: «Хабиас, новая поэтесса, читает свои похабные, барковские стихи с эстрады... Шум, гром, крики... милицию даже вводили».

В марте 1922 года Хабиас выпустила неподцензурный сборник стихов под названием «Стихеты», на обложке которого был изображен фаллос. А 15 февраля 1922 года «литературный суд» приговорил её к полугодовому лишению звания члена Всероссийского союза поэтов.

На одном из поэтических вечеров матросы даже собрались идти «убивать» Нину Хабиас за её грубые матерные стихи, и тогда на сцену «для успоко-

ения» разбушевавшейся публики выпустили Нину Манухину с её искренними чистыми стихотворениями. И прочитанное ею с эстрады утихомирило разгорячённую аудиторию, словно в зал плеснуло дуновением свежего морского бриза:

*Лёгкой яхтой белогрудой
Дни вплывают в вечера,
Я была твоей причудой,
Не сегодня, а вчера.
Покоряться было сладко
Нежной боли и тоске
И расстегивать перчатку,
Чтоб прижался ты к руке.
Знать заранее все измены,
Те, что были, те, что нет,
И не вырваться б из плена,
Не уйти б на волю мне.
Ну, а нынче рано встала –
Воздух парусом надут:
Вот-вот-вот сорвёт с причала
Яхты лёгкие минут.
За кренящейся кормою
Солнце в брызги раздробя,
Жизнь плеснёт, а ветер смоет,
Смоеет память про тебя.*

* * *

В 1920-е годы Нина Леонтьевна Манухина не раз участвовала в различных поэтических конкурсах с Сергеем Есениным, встречалась с ним в Москве после его переезда из Петрограда. В 1918 году Есенин записал в альбом Нине своё стихотворение «Вот оно, глупое счастье...». А 14 февраля 1919 года в известном кафе поэтов «Стойло Пегаса» Сергей присутствовал на литературном вечере «Карнавал на эстраде» с участием Т. Мачтета, Л. Красина, Н. Ольховской и Н. Манухиной.

Критик и кинодраматург Георгий Николаевич Мунблит в своей книге «Рассказы о писателях» вспоминает о встречах с будущим мужем Нины Манухиной поэтом Шенгели в Москве после его переезда в неё из Одессы:

«Помню один такой вечер, происходивший в Большом зале Консерватории. В этот раз публике с самого же начала что-то не понравилось. Кажется, не приехали наиболее интересные из упомянутых в афише участников. Выразилось же это недовольство в том, что появление каждого выходящего на эстраду «не того» поэта аудитория встречала громом аплодисментов, увы, не прек-

ращавшихся даже тогда, когда очередной служитель муз раскрывал рот, чтобы приступить к чтению своих произведений.

Так это происходило с одним, с другим, с третьим поэтом, так это произошло с устройте-лем вечера, который попытался публике что-то объяснить, так, несомненно, шло бы дело и до конца этого явно не удавшегося мероприятия, если бы одному человеку не удалось, наконец, утихомирить разбушевавшуюся молодёжь и заставить себя выслушать.

Этим человеком был поэт и популярный теоретик стихосложения, автор книжки «Как писать статьи, стихи и рассказы» Георгий Шенгели. Выйдя на эстраду, он, так же, как и все его предшественники, поднял руку и попросил внимания.

Ответом ему был восторженный гогот и гром саркастических аплодисментов. Даже внешность выступающего – это был высокий человек с гривой смоляных кудрей, в длинном чёрном сюртуке и больших круглых очках – не внушила аудитории никакого почтения. Так как литератора, ведущего концерт, одним из первых прогнали с эстрады, почти никому из присутствующих не было известно, кто сейчас стоит перед ними, и какой-то вихрастый юнец, перегнувшись через барьер амфитеатра, пронзительно крикнул: «Фамилия!» – требуя, чтобы выступающий назвал себя.

Публике понравилась эта игра, и теперь сквозь шум и аплодисменты стали слышаться крики: «Фамилия! Фамилия!»

Шенгели снова поднял руку, даже – помнится – обе. Гогот перешёл в рёв. Казалось, ничто не сможет образумить и укротить этого хохочущего, ревушего, многоголосого и многоликого зверя.

И тогда, дождавшись, когда шум на мгновение прервался, а крики «Фамилия!» стали менее дружными, Шенгели неожиданно гаркнул:

– Бетховен!

Публика замерла. И в мгновенной, зыбкой ещё тишине поэт начал читать своё произведение громким, хорошо поставленным голосом.

Это было ложно многозначительное, пышное и весьма посредственное стихотворение о Бетховене. Заставить прослушать такое было бы нелегко даже и в более благоприятных обстоятельствах. Но когда публика опомнилась, было уже поздно. И вопреки всем законам, божеским и человеческим, Шенгели дочитал своё творение до конца. И что самое удивительное, его не прервали ни единым возгласом или хлопком».

Вот это шенгелиевское стихотворение, носящее имя – «Бетховен»:

*То кожаный панцирь и меч костяной самурая,
То чашка саксонская в мелких фиалках у края,
То пыльный псалтырь,
 пропитавшийся тьмою часовен, –
И вот к антиквару дряхлеющий входит Бетховен.*

*Чем жить старику? Наделила судьба глухотою,
И бешеный рот ослабел над беззубой десною,
И весь позвоночник ломотой бессонной изглодан, –
Быть может, хоть перстень
 французу проезжему продан?*

*Он входит, он видит: в углу, в кисее паутины
Пылятся его же (опять они здесь) клавишины.
Давно не играл! На прилавок отброшена шляпа,
И в жёлтые клавиши падает львиная лапа.*

*Глаза в потолок, опустившийся плоскостью тёмной,
Глаза в синеву, где кидается ветер огромный,
И, точно от молний, мохнатые брови нахмурия,
Глядит он, а в сердце летит и безумствует буря.*

*Но ящик сырой отзывается шторму икотой,
Семь клавиш удару отвечают мёртвой немотой,
И ржавые струны в провалы, в пустоты молчанья,
Ослабнув, бросают хромое своё дребезжанье.*

*Хозяин к ушам прижимает испуганно руки,
Учтивостью жертвуя, лишь бы не резали звуки;
Мальчишка от хохота рот до ушей разевает, –
Бетховен не видит, Бетховен не слышит – играет!*

«Багрицкий, – продолжает свой рассказ Мунблит, – почти никогда не участвовал в поэтических вечерах, хотя, должно быть, по временам завидовал храбрецам, срывавшим на них аплодисменты и проверявшим силу своего дарования в живом, горячем, прямом общении с читателями. После того самого вечера, который я только что описал, мне пришлось убедиться в этом.

Мы вышли тогда из Консерватории целой гурьбой и, идучи вверх по тогдашней Большой Никитской, увидели сегодняшнего триумфатора. Он шествовал впереди нас, ведя под руку хорошенькую девушку, отлично известную нам, и что-то жарко шептал ей на ухо.

– Вот что значит успех! – заметил кто-то из нашей компании, указывая на нежную парочку.

– Они будут щипать друг друга за ямбы! – проворчал Багрицкий.

И в этом неожиданном и, надо думать, нео-

боснованном предположении мне послышалась не столько зависть к шенгелиевскому успеху у дам, сколько желание помериться силами перед публикой с этим баловнем счастья, так легко и так незаслуженно завоевавшим сегодня её внимание».

Судя по дате, проставленной под стихотворением «Бетховен», оно было написано Шенгели не ранее 1922 года, в марте которого он переехал из Харькова в Москву и встретился там со своей будущей второй женой и спутницей до конца жизни – Ниной Манухиной. А это значит, что, скорее всего, это именно она и была той «хорошенькой девушкой», которую Шенгели вёл под руку после своего литературного вечера из Консерватории...

9 сентября 1924 года Нина Леонтьевна вторично вышла замуж за уже известного в то время поэта, переводчика и теоретика стиха Георгия Шенгели. Начало её романа с ним носило, если можно так выразиться, – вполне «романтический» характер. Однажды она в серой амазонке ехала верхом вдвоём со своим братом где-то на окраине Москвы – кажется, это было за Тверской заставой, – и внезапно её взгляд упал на какого-то красивого брюнета в очках, который стоял при дороге и не сводил с неё восторженных глаз. Судьбе было угодно, чтобы вскоре она снова встретилась с этим брюнетом на каком-то московском литературном вечере и была ему там представлена. «Скажите, – с первых же слов спросил её поэт Шенгели (а это был, разумеется, он), – не вас ли я встретил там-то и тогда-то, когда вы в серой амазонке катались верхом с каким-то... молодым человеком?» – «Да, это был мой брат», – подтвердила она. И после этой встречи поэт и поэтесса страстно влюбились друг в друга, и Нина поняла, что без Георгия она жить уже не сможет.

Но как бросить мужа, дочь Ирину? Как расстаться с обеспеченным положением супруги хорошо зарабатывавшего врача? Ведь у поэта Шенгели, ещё недавно разгуливавшего по Одессе босиком, не было и гроша за душой!

Сознание выпавшей им на долю трудности и невозможности найти реальный выход довело обоих любовников до того, что Нина пыталась отравиться вероналом, а Георгий – повеситься на каком-то верёвочном обрывке. Но, наконец, Нина не выдержала и, бросив всё, бежала в убогую каморку Георгия, почти вся обстановка которой состояла тогда из трёхногого стула.

Но вскоре в доме супругов обстановка значи-

тельно улучшилась, и в нём начал бывать весь цвет столичной художественной интеллигенции – ведь с 1925 года Георгий Шенгели стал председателем Всероссийского Союза поэтов! В это время Манухина периодически публиковала свои новые стихи в изданиях этого Союза, регулярно посещала поэтические вечера и выступала на них со своими произведениями, но на самостоятельное «литературное имя» как будто не претендовала, хотя братья и сёстры по перу дарили ей свои книги не просто как «жене Шенгели», а как равнозначной им коллеге по литературе.

Георгий сблизил Нину с теми, с кем он был дружен сам, кого любил и почитал. С Волошиным и Мандельштамом, с Грином и Ахматовой, с Кржижановским и Парнок, с молодыми своими друзьями-коллегами – Тарловским, Липкиным, Тарковским, Левиком, Штейнбергом, Петровых...

В их жилищах (сперва на Борисоглебском, 15, а потом на Первой Мещанской, символически – наискосок от дома самого Валерия Брюсова) останавливались приезжавшие в Москву их друзья-писатели. Нина Леонтьевна весело вспоминала, как Грин, возвращаясь вечером на Борисоглебский в изрядном подпитии, молился перед сном: «Господи, помилуй мою жену, Нину Николаевну Грин, Феодосия, Бассейная, 18...»

В 1927 году, уходя от бесконечной ссоры с Маяковским и всё опаснее сужающегося кольца государственной власти, Шенгели принял приглашение вести курс новой русской литературы в одном из симферопольских вузов. Причины этого годичного добровольного «изгнания» были весьма серьёзны. Но сперва он заезжает в родную Керчь, потом – в Коктебель, к Волошину, с которым дружен уже 12 лет. И лишь затем – в Севастополь. Словно бы совершает паломничество по местам, где в течение четырёх «послеоктябрьских» лет он был втянут в круговорот переходящей из рук в руки власти, кипя в гуще отчаянной, рискованной, переполненной событиями и эмоциями жизни.

В дневниках, стихах, письмах и воспоминаниях друзей и знакомых Шенгели и Манухиной время от времени проскальзывают упоминания об их мимолётных любовных связях, которые свидетельствуют о постоянно кипевших в них чувственных страстях. Так, например, уже женившись на Нине, Георгий в письме к Марии Шкапской пишет: «Юлю не видел очень давно, ничего о ней не знаю; не хватает её мне страшно.

Её портрет над моим столом всё живее и живее...» Увидев случайно этот черновик, «бедная девочка», как называл Шенгели свою Нину Леонтьевну, чуть было не ушла из их дома от горя, и ещё долго потом выплёскивала свою обиду в стихотворения, говоря, что готова перенести самые тяжёлые жизненные трудности, если бы только любимый был с ней рядом.

*...Но если где-то есть клочок бумаги,
На нём знакомым почерком слова,
Слова любви, неутомимой муки,
И всё для той – единственной, любимой,
Тогда... мне нечем жить!*

Но вскоре после развода с Шенгели Юля вышла замуж за Александра Барсукова и в 1925 году родила от него сына, которому дали имя Игорь. А несколько лет спустя она развелась с Барсуковым и вышла замуж за Кирилла Карасёва, от которого в 1934 году родила своего второго сына – Владимира. К тому времени Георгий уже давно перестал тосковать о ней, и её место прочно занимала в его сердце Нина Манухина. А может быть, и не только она одна – ведь в его дневниках написано, что ещё в 1908 году у него была «безумная влюблённость» в Дюсю Конгопуло, а потом ещё – в Паню Грипенко, да и вообще, как писал в своих воспоминаниях его друг Векшинский, «у большинства из нас, естественно, уже завязывались юношеские романы, приводившие временами к столкновениям юных самцов. Но и этот «амурный» вопрос не перерастал в драмы или трагедии. Очень скоро определялись пары, все в классе (да, пожалуй, и во всём городе) знали, кто с кем ведёт любовную игру. Знали также про все разрывы, «чайники» и готовящиеся охлаждения. Если это волновало, то ненадолго. Под тёплым южным небом покинутый или покинутая вновь скоро обретали «радость счастья и любви»; роман завязывался, равновесие восстанавливалось...»

Между 1914 и 1916 годами, как уже отмечалось выше, Георгий ходил свататься к Евгении Добровой, однако получил от неё отказ, и летом 1916 года Евгения уехала на учёбу в столицу. Но затопившая в следующем году страну революция заставила её бросить курсы и уехать в деревню, откуда она только через несколько лет перебралась в Севастополь, где вышла замуж за военного врача.

Ну, а в судьбе Георгия Аркадьевича тем временем произошла, как он записал в своём дневнике

ке – «катастрофа», «сближение» с его двоюродной сестрой Юлией и поездка с нею в Керчь. Хотел того или не хотел Владимир Дыбский, а его дочь Юля стала женой своего брата Георгия. А через восемь с лишним лет они разошлись, и Георгий женился на Нине Манухиной...

Судя по всему, Георгий Аркадьевич испытывал постоянное плотское влечение, из-за чего он то и дело изменял своей любимой и легко вступал в связи с другими женщинами. Так, например, ленинградский поэт, прозаик и собиратель материалов об Анне Ахматовой и Николае Гумилёве Павел Николаевич Лукницкий 13 марта 1926 года написал:

«...Приехавшая из Москвы любовница Шенгели – Р.Я. Рабинович – говорила со мной по телефону и рассказывала о Шенгели и о визите к нему А<нны> А<ндреевны> (о котором она знает со слов Г.А. Шенгели). Говорит, что девицы, через строй которых прошла А<нна> А<ндреевна> (имеется в виду общежитие, через которое необходимо пройти, чтоб попасть в комнату Шенгели. – **Н.П.**), так были поражены, увидев её идущей к Шенгели, что после её визита круто переменили своё отношение к нему – из скептического и несколько недоброжелательного оно стало восторженным и почтительным. Говорила, что с приходом А<нны> А<ндреевны> к Шенгели произошёл полный переполох, ибо все переполошились почтительностью и почтением к ней. Даже жена Шенгели, которая всегда заставляет мужа носить воду для чая, сама побежала за водой на этот раз...»

По-видимому, это мимоходом отмеченное Лукницким наличие у Георгия любовницы было настолько естественным, что это говорило о данном факте для него как о давно уже привычном, что подтверждается даже самим его творчеством. В 1932 году Георгий Шенгели написал стихотворение «Дон-Хуан», которое предваряется двумя, отчасти перекликающимися между собой, эпиграфами с двумя одинаковыми парами рифм, один из которых принадлежит Александру Пушкину («Смертный миг наш будет светел, / И подруги шалунов / Соберут их лёгкий пепел / В урны праздные пиров»), а другой – Александру Блоку («Так гори, и яр, и светел, / Я же лёгкою рукой / Размету твой лёгкий пепел / По равнине снеговой»). А само стихотворение посвящено сопутствующим ему по жизни с ранней молодости женщинам:

*На серебряных цезурах,
На цезурах золотых
Я вам пел о нежных урры,
О любовницах моих...*

*Ну, не все, конечно, урры;
Были умные, – ого!
Прихватившие культуры,
Прочитавшие Гюго.*

*Впрочем, ведь не в этом дело:
Что «Вольтер» и «Дидерот»,
Если тмином пахнет тело,
Если вишней пахнет рот.*

*Если вся она такая,
Что её глотками пью,
Как янтарного токая
Драгоценную струю...*

*Да, – бывало! Гордым Герам
Оставляя «высоты»,
Я весёлым браконьером
Продирался сквозь кусты.*

*Пусть рычала стража злая,
Не жалел я дней моих,
По фазаночкам стреляя
В заповедниках зужих.*

*Пронзены блаженной пулей,
Отдавали лёгкий стан
Пять Иньес и восемь Юлий,
Шесть Марий и тридцать Анн.*

*А теперь – пора итогов.
Пред судьбой держу ответ:
Сотни стройных перетрогав,
Знаю я, что счастья нет.*

*«Смертный миг» мой будет тёмн:
Командоры что есть сил
Бросят прах мой в жерла домен,
Чтоб геенны я вкусил.*

*За пригоршнею пригоршня:
Месть – хоть поздняя – сладка...
И в машине, в виде поршня,
Буду маяться века!*

О том, что Георгий не был воздержанным скромником, говорила через пять лет после его смерти своей подруге Евгении Пузановой и сама

Нина Манухина: «Несмотря на многочисленные романы свои, не мог без меня жить и ревновал меня из-за всякого пустяка». Хотя сам он, как признался тогда одному своему другу, совершил в то время несколько измен, совершённых совсем не «по любви», а просто так «по дороге». «Мне надо было прийти к Нине и покаяться», – сказал он потом этому другу, но сделать этого почему-то не сумел и в течение двух лет «чувствовал себя в каком-то капкане». «От этих двух лет у меня осталось позорнейшее ощущение двоедушия и слабости».

Но перебороть в себе эту постоянно жившую в нём тягу к физической близости Георгий не смог, дошло уже до того, как говорил он, что он собирался уйти от Нины. В ноябре 1927 года он получил от неё в Симферополе письмо, в котором она сообщала, что «ей стали известны мои прогулки с М.И.» и что у неё самой тоже есть флирт. Мне пришлось тут же срочно съездить в Москву, чтобы удержать Нину от падения и сохранить её для себя...»

* * *

Летний сезон 1928 года прошёл очень оживлённо и весело: на волошинской даче собралось много писателей, поэтов и просто друзей. Совершали прогулки в горы, то и дело купались в море, музицировали, читали стихи и дурачились. Волошин читал своё новое произведение религиозного цикла «Сказание об иноке Епифании», но оно больших восторгов у его слушателей не вызвало.

Гораздо более удачными были организованные у Волошина различные шарады и стихотворные состязания. Разгадывать шарады – это была одна из традиционных забав для большой и шумной компании, и чаще всего их затевал приезжающий сюда Михаил Булгаков. Эту игру он особенно любил и с удовольствием составлял шарады как можно позаковыристее и пошмешнее. Одна из них называлась «Навуходоносор».

Шарада состояла из трёх сценок. Первая из них изображает таверну, в которой идёт пьянка, кто-то танцует на столе, затем затевается драка, и участники друг другу тычут кулаками в ухо (сцена называется: «НА В УХО!»). Сцена вторая называется – «ДОНОС», и её участники шепчут что-то один другому на ухо, а также передают кому-то исписанные листы бумаги, изображая этим осуществление доноса. Ну, а в третьей сценке жена

Волошина Мария Степановна ходит по комнате и орёт: «Опять кто-то насóрил!!» (Этим изображается громкий «ОР».) Таким образом, складывается всё имя Навуходоносор: «НА В УХО» + «ДОНОС» + «ОР». А в конце шарады (так сказать, на закуску) появился перед отдыхающими и сам Макс, опутанный белыми простынями. Он неожиданно по-пороссячи взвизгнул, стал на четвереньки и начал с жадностью жрать траву (изображая намёк на известный факт помешательства Навуходоносора).

По воспоминаниям Нины Манухиной, режиссёром этой шарады, поставленной в кокетельском Доме поэта Волошина, был именно Булгаков.

А по замыслу самого Максимилиана Волошина, собравшиеся у него в доме поэты должны были принять участие в стихотворном состязании «Турнира французской баллады» с заданным рефреном: «Не остывал аэролит», – в котором принимали участие сам хозяин дома, а также Е.Ланн, Г.Шенгели, С. Шервинский и другие. Гостившие у Волошина поэты должны были написать стихотворение на тему: «Не остывал аэролит», имея в виду метеоритный камень, положенный однажды на могилу Эдгара По его друзьями и поклонниками.

Против всякого ожидания, эту премию получила тогда не кто-нибудь, а именно скромная «поэтиха» – Нина Манухина-Шенгели. Жюри было буквально подкуплено её необычайно оригинальным подходом к трудной теме, поэтому нельзя не прочитать это остроумное стихотворение поэтессы полностью:

*Баллады форма мне трудна:
Я не в большом поэтском чине.
Занежена (зане – жена!),
Я не умею брать твердыни.*

*Боюсь поддаться рифм лавине,
Тем более, что муж – пиит,
Не знает: по какой причине
Не остывал аэролит?*

*Сегодня полная луна
Задумчивого цвета дыни.
Мечтаю, сидя у окна,
О «фернампиксах», о дельфине,*

*А тут поэты в мрачном сплине
Шагают – и вопрос открыт:
Когда и где, в какой пустыне
Не остывал аэролит?*

*А я другим удручена:
Алеют губы – все в кармине,
Рояль звенит, словно зурна!
Ах! Диспут не помог кручине:*

*Фокстрот запретнее святыни
Манит миражем, кровь бурлит.
Кой чорт мне в том, что и донине
Не остывал аэролит?!!*

*И пусть в неведомой пучине
Не «фернампикс», а «пёс» на вид,
Совсем не интересный Нине
Не остывал аэролит!..*

(«Фернампикс» – это на коктейбельском жаргоне означает прозрачный халцедон, а «пёс» – простая галька.)

Нина Леонтьевна как-то рассказывала своим друзьям такую притчу: некий узбекский властитель любил и был страстно любим своей женой. У него не было гарема. Но франкский царь подошёл к стенам его города и сомкнул кольцо осады. Осаждающий сказал: я уведу свои войска, если ты сочетаешься браком с моей сестрой, которая уже давно мне досаждаёт. Спросив у жены разрешения изменить ей, узбекский бохадур принял условие победителя. И на следующую ночь он вошёл в шатёр сестры победителя. Но первая жена его стояла у шатра, прислонясь спиной к стволу осины: она слышала вздохи и поцелуи и дрожала, прижавшись спиной к коре; с той поры дрожь её дошла до сердцевины осины и дерево непрестанно дрожит...

Вот что значит идти по жизни любящей женой.

И понимая это, Георгий, стараясь внести в их жизнь хоть какую-то долю своей теплоты и радости, одаривал Нину всё новыми и новыми стихами, одно лучше другого. Хотя и в них неизбежно присутствовала доля потаённой тоски и печали, которые нельзя скрыть под поэтическими виньетками.

Весной 1941 года Нине Манухиной, в составе письма к Георгию, пришла небольшая записочка от Игоря Северянина из Финляндии, в которой он писал: «Светлая Нина Леонтьевна, спасибо Вам за стихи – грустные и трогательные, изысканные и хрупкие. Отчего Вы бросили писать? Такие стихи нужны для небольшого круга ценителей. Это тем ценнее.

Берегите моего и своего друга!

Всего хорошего от Верочки и меня. Игорь».

Но Нина, как мы уже видели, писать свои стихи окончательно не бросала, а время от времени всё-таки писала их в свои блокноты, складывая на будущее в ящиках столов. А много лет спустя, когда Георгия Аркадьевича Шенгели уже не было с Ниной рядом, она написала ему несколько поэтических посланий, надеясь, что он их сумеет однажды прочитать с неба:

*Любый мой! Ведь я была лишь тенью,
Только тенью верною твоей,
И училась мудрости терпенья
В будничном теченье дней.*

*Смерчем неудач скосило годы,
Разрасталась травля за спиной,
Но твои тревоги и невзгоды
Всё делил ты поровну со мной...*

<...>

К окончанию своей жизни Георгий обрёл спокойствие, перестал грешить, почти перестал писать стихи и начал мечтать о тихой жизни у моря. «Ты снилась мне сегодня, мы устраивали наш домик где-то на юге, – писал он жене во время войны. – Эх, эх, когда это будет? До судорог хочется юга, моря, мира, тишины, тебя... Устал я до чёртиков. И мало надежды прожить хотя бы последние годы достойно в тишине. Ведь когда мы отобьёмся от Гитлера, стране придётся зализывать такие раны, столько восстанавливать, что литература, естественно, будет на последнем плане, а в ней на последнем месте окажутся переводы классиков и мои стихи, так что прожить будет нелегко. И всё-таки, Нинка, уедем к тёплому морю. Буду работать хоть учителем, лишь бы хлеб был. Надо мужественно признать своё поражение в борьбе за первоклассное литературное имя. Не вышло. Возложим надежду на «грядущие века» (хотя они, как сказал Байрон, «к подобному наследству не ревнивы»), а грядущие годы посвятим «тихой жизни». Допишите книгу о стихе, доперевести «Дон Жуана», написать воспоминания, – и всё. И писать стихи «для себя». Вот программа... Отпущу себе бороду и буду «пользоваться уважением сограждан» где-нибудь в Феодосии или в Алуште. И будем есть пилав из мидий».

«Дом там, где ты, – пишет он ей в другом письме. – Мне кажется, сейчас произошла окончательная проверка нас с тобой, и вышло, что «ин побредём». Да, Нинка?»

14 января 1958 года Манухина ответила ему на

это письмо своим запоздалым стихотворением «Протопоп Аввакум» с эпитафией «Ин побредём, Марковна...»:

*Нет! – Одиночества вдвоём
У нас ведь не бывало...
И я жалею об одном:
Что вместе жили мало!
Каких-то жалких тридцать лет
И страшный год разлуки, –
Войны неизгладимый след,
Отчаянья и муки...
Мы всё делили пополам:
Скупого счастья блёстки
И горе щедрое, – и нам
Мир не казался жёстким...
И верилось, что добредём
Вдвоём мы до могилы
И там мы вместе отдохнём,
Как вместе жизнь прожили...
Но ты ушёл... и я одна...
Но ждёт за счастье плата, –
И одиночеством до дна
Жизнь и душа объята.*

* * *

«Поэт должен жениться на будущей вдове», – говорил когда-то Георгий Шенгели. Нина была на год старше его, смолоду болезненна, часто посмеивалась в ответ, мол, ещё неизвестно – кто кого переживёт. Но от смеха до слёз – всего ничего...

Смерть Шенгели в ноябре пятьдесят шестого года стала для Нины Манухиной ударом сокрушительным. Первые пять медленных лет она никак не могла прийти в себя. То, что было живым, становилось памятью. Ничто не помогало. Единственно, только стихи.

20 мая 1959 года она написала стихотворение для своего любимого Георгия:

*Прости, что я смеюсь порой,
Звездой люблюсь голубою,
Что нарушаю твой покой
Слезами, жалобой пустою.*

*Ты мудрым «там», наверно, стал,
Я «здесь» – ничтожной и земною...
Но если бы ты только знал,
Как страшно мне не быть с тобою!*

Хочется верить, что он его услышал на небесах. Ведь для него не было ничего главнее любви и поэзии...



Николай Владимирович ПЕРЕЯСЛОВ родился в 1954 г.

Окончил заочное отделение Литературного института им. А.М. Горького по жанру критики и литературоведения.

Автор пятнадцати книг стихов, прозы и критики, также множества публикаций в периодике.

Лауреат литературных премий им. А.П. Платонова, А.Н. Толстого и Большой литературной премии России.

Член редакционного совета журналов: «Всероссийский собор» (С.-Пб), «Донбасс» (Донецк), «Север» (Петрозаводск), альманаха «День поэзии», всеславянской газеты «Небесный Всадник» и других изданий.

Печатался в литературных журналах России, Украины, Беларуси, Казахстана, США, Германии, Болгарии, Китая и других стран.

Член Международной федерации журналистов, Международной ассоциации писателей

и публицистов, Союза журналистов Москвы и Союза писателей России.

Секретарь правления Союза писателей России.

Живёт в Москве.

